

возрождение. Разделение между сакральным в искусстве и в религиозных системах позволяет, таким образом, очертить суть сакрального действия — создание области бессмертных образов жизни. Остальные функции религиозных практик со временем меняются, замещаются новыми, а эта остаётся и осуществляется всегда только через художника, хотя сам он сознательно и единолично, без вдохновения, реализовывать её не способен. В этом смысле искусство как чудесная Всеполюта превосходит религию в качестве универсального, вселенского связующего и превосходит понятие человеческой практики в его социальных измерениях.

Так или иначе священнодействуют, т.е. «художествуют» все художники и, как мы знаем, даже те, которые создают политические партии, проводят социальные опросы, составляют коллекции, общаются с духами и т. д. Ведь Бойс или Хааке представляют себя художниками, а не политиками, социологами, коллекционерами-экспертами или экстрасенсами-медиумами. Они мыслят себя психагогами, душеводителями. Вопрос искренности и, добавим, ясности понимания собственных действий является очень важным. Сам язык указывает на выбкость почвы, где проходят художественное творчество и эксперименты в области чудес: есть те, которые «чудотворствуют», а есть те, которые «чудят». Со временем по результатам их действий — произведениям — становится понятно, чем они собственно занимались.

В самом общем смысле художник совершает два действия: находит (провидит) образ и показывает его всем, сообщая ему энергию бесконечного изменения и усиления смыслов. Не так уж важно, как происходит первое действие: развивается ли изображение, «взятое из головы», на бумаге; брошена ли в стену мокрая тряпка

Священнодействуют все художники, даже те, которые создают политические партии, проводят социальные опросы, составляют коллекции, общаются с духами и т. д.

или на грязной стене найдено пятно; куплен ли в магазине сантехники писсуар. Суть в том, что первую фазу нельзя проскочить, т. е. просто займствоваться «картинку», «контент», как и вторую — выявление образа — невозможно игнорировать, заменив её хешпенингом или организацией какого-то ритуала. Недавно на одном круглом столе меня совершенно поразило мнение известных, заслуженных и влиятельных критиков, сводящееся к тому, что произведения актуального художника — это «реквизит» его творческой жизни. Т.е. котировки произведения находятся в точке замерзания, разогреты они только в условиях рыночных продаж, а в теории и критике обратно заморожены. Оказавшись в области безобразного, мы, естественно, живём среди безобразного и пеняем на растущую энтропию, отказывая искусству в его основной функции — преобразить нечто во что-то значительное и волнующее. Спасает лишь это: настоящие художники, что бы им ни внушали критики про реквизит, не могут не создавать искусство.



Ольга Седакова
*поэт, переводчик,
доктор богословия*

Со времен гуманизма и Возрождения творчество, и особенно художественное творчество было своего рода «параллельной религией», «светским культом» Европы — со своими «подвижниками», «святыми» и «мучениками», которым, как Шопену или Пушкину, Ван Гогу или Микеланджело, принадлежало совершенно особое место и в сердце частного человека, и в сердце народа. Их любили другой, но не менее интимной любовью, чем великих святых заступников. К ним не обращались с молитвой, но они обращались к нам из своих созвучий, строф, красок, расширяя область свободы и бескорыстия в обыденном мире расчета и необходимости. Их создания вносили тепло родины в холодный мир. Наконец, жизнь художника — как она предстает в его произведениях — была образцом искренней жизни, открытой и в своих немощах, и в своих заблуждениях: можно сказать, эсхатологическим образом жизни.

В 1999 году в своем «Послании людям искусства» Иоанн Павел II наделил художественное творчество высочайшим достоинством: именно здесь, по его мнению, исполняется замысел Божий о человеке, здесь, «как нигде больше, человек открывается как образ Божий», образ Бога Творца; наконец, Воплощение открывает художнику дар «новой красоты». Момент вдохновения именуется «эпифанией (богоявлением) красоты», а плод вдохновения, произведение, даже если непосредственную тему его, «сюжет», составляет зло и порок, несет в себе свидетельство «всеобщей жажды спасения». Послание Иоанна Павла II было обращено к людям, которые «страстно и жертвенно ищут новых «эпифаний» красоты, с тем чтобы, воплотив их в художественном создании, принести в дар человечеству».

И здесь неминуемо встает печальный вопрос: а где эти люди? Да, таков истинный художник, художник классических времен: но не поставила ли наша современность — устами своих многочисленных авторитетов — под вопрос и возможность явления таких художников (известный лозунг «смерти автора»), и самую реальность различения «истинного» и «подделки», дара и бездарности, уникального и тиражированного, и какой бы то ни было контакт с «иным» (а классическое вдохновение всегда описывалось как явление «иногое»). Да и кто в качестве цели творчества полагает теперь «принесение дара» миру, кто думает одарить, а не бросать вызов, не самовыражаться и т. п.? Бетховен, сравнивший себя с Дионисом, несомненно, принял бы эти слова как свои: откровение красоты, жертвенное служение ей, приношение ее в дар человечеству. Но современные художники, признают ли они себя в этом описании? Я перебираю в уме признанных людей современного искусства, его ведущих мастеров: кто из них назвал бы себя служителем красоты?

Для кого сами эти вещи — красота, вдохновение, дар, творчество, наконец, — остаются реальными? И если не в этом, в чем видят они интенцию собственных работ?

Вот некоторые из широко распространенных мотиваций эстетической деятельности: служение языку (что теперь уже кажется почти анахронизмом); деструкция старых мифов и иллюзий; обличение лжи и зла; «остранение», подержание некоей социальной игры; самовыражение и автотерапия, освобождение от личных «травм»; эпатаж и провокация, шоковое воздействие на публику, жест власти над ней; утверждение себя в качестве «человека искусства»... Вот, кажется, и весь веер возможностей актуального художника. Ни одна из названных мотиваций никаким образом не соприкасается с «эпифанией красоты». Не удивительно ли это? Красота, которую безнадежно путают с «красивостью», практически не допускается художнику, который надеется быть «современным». И кто же, как не современные художники и теоретики искусства, не устают утверждать иллюзорность художественного смысла?

Мы оказались свидетелями того, как само искусство — в лице своих деятелей и теоретиков — сменило свою «парнасскую веру» на «парнасский атеизм». Сами поэты «смирненно» и фаталистично говорят о «смерти поэзии», об «уходе поэзии»

Кто бы сейчас назвал себя служителем

красоты? Для кого

сами эти вещи —

красота, вдохновение,

дар, творчество, —

остаются реальными?

из нашей цивилизации». Значение и последствия этого отречения — и для искусства, и для общества, и для отдельного человека — трудно переоценить.

Мне кажется, что ключ к тому, чего лишается искусство, перестающее надеяться на «эпифанию красоты» — и при этом продолжающее производить «эстетические вещи», можно найти в том же послании Иоанна Павла II. Обсуждая существенное различие божественного Творения и человеческого творчества, автор определяет эту «уже существующую» материю, вещество, с которым работает художник-человек: «он исполняет эту задачу, работая с изумительным «веществом» собственной человечности». Прежде того, что считают собственно «материалом» отдельных искусств (словами или звуками или цветами), художник берется за первое вещество — человечность, собственную человеческую природу! Он находит или освобождает в себе, словами Симоны Вейль, «то «я», выражением которого в светской культуре является поэзия». Это «я» — та материя человечности, которая самым интимным образом связана с восхищением и изумлением, *admiratio*. Она связана (как об этом говорят Гельдерлин и Мандельштам) с необъяснимым переживанием «внутренней правоты» и моментальной невинности. Знаменитые слова о «непристойности (или невозможности) поэзии после Аушвица», ставшие лейтмотивом новейшей культурной ситуации, как раз и отрицают такую возможность свободы от вины — и, тем самым, возможность вдохновения: выхода, словами Пастернака, «из веритья в правоту».

Молчание поэтического и вообще творческого в актуальной культуре говорит не больше не меньше о том, что утрачено это «я», это «изумительное «вещество человечности». Совсем просто выразил это Пауль Целан: «Нет людей, поэтому нет и стихов».